

*Посвящается Карме Лопес Меркадер,
которая, пока я писал эту книгу,
с улыбкой оставалась рядом, находясь
далеко или близко — вместе мы были
или нет, веселы или не очень, но она
всегда была веселее меня*

Я был воспитан в старых правилах и даже вообразить себе не мог, что когда-нибудь мне прикажут убить женщину. Женщин нельзя обижать, их нельзя бить, нельзя оскорблять — нельзя, и всё тут, ни действием, ни словом. Более того, их надо защищать и уважать, им надо давать дорогу и всячески помогать, если они несут ребенка во чреве, или на руках, или везут в коляске, им надо уступать место в автобусе и в метро, а на улице удерживать подальше от проезжей части или, как это было в прежние времена, следить, чтобы на них ничего не свалилось с балконов; при кораблекрушении положено в первую очередь сажать в спасательные шлюпки женщин с маленькими детьми (ведь дети принадлежат больше женщинам, чем мужчинам). Когда происходят массовые расстрелы, женщин иногда отводят в сторону, то есть им даруют жизнь, отнимая у них мужей, отцов, братьев и даже сыновей-подростков, не говоря уж о взрослых сыновьях, то есть им, обезумевшим от горя, похожим на тени, позволяют жить дальше, и они считают годы и стареют, прикованные к воспоминаниям о том мире, который когда-то принадлежал им и которого их лишили. Женщины волей-неволей превращаются в хранительниц памяти, ведь только они остаются, когда кажется, будто больше вообще никого не осталось, и только они могут засвидетельствовать то, что кануло в небытие.

Короче, все это мне внушили еще в детстве — и так оно и было в прежние времена, хотя отнюдь не всегда, то есть не всегда подобные правила выполнялись неукоснительно.

Да, так полагалось вести себя, но скорее в теории, чем в жизни. Достаточно вспомнить, что в 1793 году на гильотине казнили французскую королеву, а очень многих женщин еще раньше сожгли на костре, обвинив в ведовстве, не говоря уж о бесстрашной Жанне д'Арк, — эти примеры всем хорошо известны.

Иными словами, женщин убивали во все времена, но это вроде бы шло вразрез с традиционными устоями и нередко вызывало возмущение. Сейчас трудно с уверенностью сказать, почему Анне Болейн была оказана особая милость: ее не отправили на костер и голову отрубили мечом, а не старым тупым топором, — потому, что она была женщиной, или потому, что была королевой, или потому, что была молодой, или потому, что была красивой, красивой, по меркам той эпохи и согласно легенде, а легендам никогда не стоит слишком доверять, как и рассказам прямых свидетелей, которые все видят и слышат вполглаза и вполуха, часто либо ошибаются, либо просто лгут. На картинах, запечатлевших казнь королевы, она стоит на коленях в молитвенной позе и держится прямо, с высоко поднятой головой; а если бы голову отсекали топором, ей пришлось бы прижать подбородок или щеку к плахе и принять более унижительную и неудобную позу, то есть лечь на эшафот, откровенно явив свою заднюю часть взорам публики, взорам тех, кто наблюдал за казнью, пробившись в первые ряды. Хотя странно, конечно, рассуждать об удобстве или неприличии позы в последний миг пребывания человека в нашем мире, о ее изяществе или благопристойности — какое значение все это имело для королевы, которая была, по сути, уже покойницей и должна была вот-вот исчезнуть с лица земли и, разрубленная на две части, найти себе пристанище в той же самой земле. На этих картинах можно увидеть и “мечника из Кале” — именно так его называли, чтобы отличить от обычного палача, — которого специально доставили из Франции, выбрав за особую опытность и сноровку, а возможно, и по просьбе самой королевы. Он

всегда изображался у нее за спиной, ни в коем случае не перед ней, чтобы Анна его не видела, словно заранее было условлено или решено избавить несчастную от зрелища занесенного над ней меча, и чтобы она не могла проследить взглядом за тем, как меч опускается вниз, хотя движется он слишком быстро и неудержимо — подобно случайно сорвавшемуся с губ свисту или подобно порыву ветра (у королевы на паре картин завязаны глаза, но чаще ее рисовали без повязки); а еще чтобы она не знала, в какой точно миг образцовый удар отсечет ей голову и та упадет на эшафот лицом вниз, или вверх, или боком, или на макушку — заранее никто этого не ведает, тем более сама королева; но удару надлежало обрушиться неожиданно, если можно говорить о неожиданности, когда человеку известно, зачем его сюда привезли, зачем поставили на колени и сняли плащ — в восемь часов холодным майским утром. Анна стоит на коленях именно для того, чтобы облегчить задачу палачу: ведь он любезно согласился пересечь Ла-Манш и исполнить приговор, к тому же, возможно, был не очень высок ростом. Вероятно, королева убедила судей, что для ее тонкой шеи будет достаточно и меча. Наверняка она не раз обхватывала свою шею руками, чтобы проверить это.

В любом случае с Анной Болейн церемонились больше, чем два века спустя с Марией-Антуанеттой, и в роковом для нее октябре с ней обращались куда хуже, чем с ее супругом Людовиком XVI в роковом для него январе — а он попал на гильотину примерно на девять месяцев раньше жены. Революционеры не посчитались с тем, что она женщина, или, скорее всего, не придали значения полу своей жертвы, поскольку, по их соображениям, такой взгляд на вещи сам по себе противоречил принципам революции. Некий лейтенант де Бюн, который во время слушания дела отнесся к ней уважительно, был арестован и заменен другим, более суровым, тюремщиком. Королю связали за спиной руки лишь у ступеней эшафота, а к месту казни привезли в закрытой карете, принадлежавшей, насколько я знаю, мэру Парижа; Людовик смог сам

выбрать себе священника для последней исповеди (и выбрал одного из тех, кто не только отказался принести присягу верности Конституции и новому порядку, но и осуждал этот порядок). А вот его вдове, австриячке, руки связали за спиной еще до того, как посадили в позорную телегу, откуда она легко могла видеть лютую злобу на лицах зевак и слышать их глумливые вопли; ей прислали священника, присягнувшего Республике, но она вежливо отказалась от его услуг. Согласно хроникам, во время своего царствования королева не отличалась любезностью, зато в последние минуты жизни искупила это: она так стремительно взошла на эшафот, что споткнулась и наступила на ногу палачу, перед которым тотчас извинилась, словно только так всегда себя и вела (“Извините, месье”, — сказала она).

У гильотины тогда был свой обязательный позорный ритуал: приговоренным не только связывали руки за спиной, но уже на эшафоте им крепко обматывали верхнюю часть тела тугой веревкой, вроде как уподобляя веревку савану; и человек почти не мог свободно двигаться, не мог обойтись без посторонней помощи, поэтому двое подручных палача поднимали его как мешок (позднее так в цирке поступали с карликами, которыми выстреливали из пушки), а затем либо плавно, либо резко опускали лицом вниз, чтобы шея попала в специальную выемку. В этом Марию-Антуанетту полностью уравнили с супругом: оба в последний миг почувствовали себя вещью, с ними обращались как с мешками, или как с торпедой на старой подводной лодке, или как с тюками овечьей шерсти, из которых торчали лишь головы, и эти головы вскоре покатались непонятно куда, пока палач не схватил их за волосы и не показал толпе. Однако совсем небывалая история случилась со святым Дионисием во времена гонений на христиан при императоре Валериане: он, по свидетельству одного французского кардинала, претерпев муки и будучи обезглавленным, поднял свою отсеченную голову и прошествовал с ней от Монмартра до храма, где его погребли (то есть избавил от лишней

работы носильщиков) и где позднее выросло аббатство Сен-Дени. А пройденное им расстояние составляло, кстати сказать, девять километров. Это чудо лишило кардинала, по его словам, дара речи, хотя на самом деле оно, наоборот, позднее сделало его речь неудержимо пламенной. А некая остроумная дама, выслушав кардинала, быстро перебила его и одной-единственной фразой умалила подвиг святого: “О Господи! Хотя, думаю, в подобных делах по-настоящему трудно дается лишь первый шаг”.

Д а, по-настоящему трудно дается лишь первый шаг. И так можно сказать о чем угодно: о том, что требует немыслимых усилий, и о том, что совершается против воли, или с отвращением, или с оговорками, а люди обычно очень мало что делают без оговорок, почти всегда находя удобный повод, чтобы отказаться именно от первого шага — чтобы не выйти из дому, не тронуться с места, не заговорить с кем-то, не ответить кому-то и не посмотреть на кого-то... Иногда я думаю, что вся наша жизнь — даже у тех, кто наделен душой тщеславной, беспокойной, неистойвой и ненасытной, кто мечтает повлиять на судьбы мира или поуправлять миром, — сводится к тщетному, по сути, желанию, исполнение которого мы вечно откладываем на потом, к желанию снова стать совсем незаметными, какими были еще до рождения, невидимыми, неслышимыми и не излучающими тепла; к желанию молчать, не двигаться, пройти в обратном направлении уже пройденный путь и перечеркнуть уже сделанное, хотя перечеркнуть его никогда не удастся — в лучшем случае о сделанном можно забыть, если, конечно, повезет и никто не напомнит о нем вслух; к желанию стереть любые следы, которые рассказывают не только о нашем прошлом, но, к сожалению, о настоящем и будущем. Однако это желание остается всего лишь желанием, и мало кто готов признаться в нем даже себе; исполнить же его под силу лишь людям храбрым, сильным и наделенным почти нечеловеческой волей — тем, кто способен на самоубийство, кто способен отойти в сторону

и ждать своего часа, кто исчезает не попрощавшись, скрывается по-настоящему, то есть навсегда. Такими были древние анахореты и отшельники, таковы те, кто выдают себя за других (“Я — это уже не мое прежнее я”), присваивая себе чужую личность и без колебаний к ней прирастая (“Идиот, с чего ты взял, что знаешь меня!”). Это дезертиры, изгнанники, узурпаторы и люди, потерявшие память, если они и вправду не помнят, кем были, и уверенно приписывают себе чужие детство и юность, не говоря уж об обстоятельствах появления на свет. Я говорю о тех, кто никогда не возвращается.

Нет ничего тяжелее, чем убить человека. Это избитая истина, которую любят повторять те, кто в жизни своей никого не убил. Они повторяют ее, потому что не могут даже вообразить себя с пистолетом, или с ножом в руке, или с удавкой, или с мачете, и не понимают, что преступления по большей части — отнюдь не секундное дело, они требуют физической силы, когда случается схватка один на один, и весьма опасны (если у тебя отберут оружие, прикончат тебя самого). Но люди уже насмотрелись в кино на ружья с оптическим прицелом и усвоили: чтобы попасть точно в цель, достаточно нажать на спусковой крючок. Чисто, безопасно и почти никакого риска. Мало того, сегодня мы узнаем, что можно управлять дронами с расстояния в тысячи километров и, отняв жизнь или несколько жизней, воспринимать убийство как событие не совсем реальное, а скорее даже воображаемое — или как участие в видеоигре (поскольку за результатом легко проследить на экране). Ведь в подобных случаях кровь не брызнет убийце в лицо.

А еще, по общему мнению, тяжело убивать человека, так как это означает нечто необратимое, абсолютный конец: мертвый — он уже никто, мертвый больше ничем себя не проявит, не сможет ни спорить, ни что-то придумать, не сможет ничего изменить и сам не будет меняться, не оплатит долги и не уступит в споре; он навсегда замолчит, перестанет дышать и видеть, станет безвредным, а главное — вообще ни на что не пригодным, как сломанный пылесос, который только занимает место

в доме и который надо поскорее выбросить. Большинство людей воспринимают это трагично, чересчур трагично, им хочется верить, будто каждому надо дать шанс на спасение, будто все мы способны исправиться и заслужить прощение, а эпидемия чумы утихнет как-нибудь сама собой и незачем с ней бороться. К тому же любой человек вызывает абстрактную жалость: разве могу я лишить кого-то жизни? Однако жалость сникает перед лицом конкретных фактов, если вообще не испаряется, иногда и в мгновение ока. Или мы сами с корнем вырываем ее из сердца.

Я помню фильм Фрица Ланга 1941 года, снятый в самый разгар Второй мировой войны, когда Соединенные Штаты в нее еще не вступили и казалось невозможным, что Англия одна выдержит натиск Германии: большая часть Европы была уже завоевана, а другая ее часть послушно плясала под дудку Гитлера. Начинался фильм так: человек в охотничьем костюме — шляпа, галифе, гетры (его роль исполнял Уолтер Пиджон) — со снайперской винтовкой в руках оказывается у какого-то земляного вала или насыпи; дело происходит 29 июля 1939 года, всего за тридцать шесть дней до начала войны; там, в Баварии, в Берхтесгадене, у Гитлера была резиденция, куда он часто уезжал, и на это время она становилась самой охраняемой территорией страны. Охотник ложится в густую траву на краю обрыва, который напоминает защитный ров, какими обычно окружали старинные замки, и смотрит в бинокль. На его лице вспыхивают удивление и лихорадочное возбуждение, он достает из кармана куртки оптический прицел, устанавливает на винтовку и наводит на расстояние в пятьсот пятьдесят ярдов, то есть чуть меньше пятисот метров. И видит фюрера собственной персоной, который расхаживает по террасе и беседует с высоким офицером гестапо в монокле (мне запомнилась его странная, наполовину английская фамилия — Куив-Смит, эту роль исполнил Джордж Сандерс), на нем белый мундир и темные брюки; очень похожую униформу вплоть до семидесятых годов но-

сили прокуроры при дворе Франко, упорно сохранявшие верность нацистскому стилю.

Сначала Куив-Смит стоит так, что загоразживает собой Гитлера, поэтому охотник не может прицелиться в него и нервно вытирает пот со лба. Но вскоре гестаповец уходит, и Гитлер остается один. Теперь охотнику уже ничего не мешает, и он берет фюрера на мушку. Подносит палец к спусковому крючку и после мгновенного колебания нажимает на него. Слышен слабый щелчок — винтовка не заряжена. Уолтер Пиджон смеется и шутливо касается рукой поляй своей шляпы, словно посылая Гитлеру прощальный привет. Но зритель уже знает, что поблизости появился охранник, который патрулирует территорию, однако пока еще не видит спрятавшегося в зарослях чужака.

Я понятия не имею, как все это объясняется в романе, по которому снят фильм¹, но экранный Пиджон после неудачного выстрела вдруг понимает, что может на самом деле убить Гитлера, — мало того, мысленно уже выстрелил в него. Тогда он поспешно вставляет патрон в патронник и снова прицеливается. Фюрер все еще там, еще не ушел с террасы, и грудь его — отличная мишень. Позднее, когда охотника хватают и допрашивают, он уверяет Куив-Смита (или Сандерса), что стрелять не собирался, а хотел лишь убедиться, что это вполне реально, коль скоро его до тех пор никто не обнаружил и не задержал. Охотника охватил так называемый азарт выслеживания. Чтобы поразить намеченный объект, нужен только точный математический расчет, если этот объект досягаем и правильно наведен фокус. Нажать на спусковой крючок легче легкого, но на самом деле Пиджон уже давно решил никогда больше на крючок не нажимать, даже если речь пойдет о кролике или куропатке. Однако, чтобы игра выглядела серьезной, а не шутовской, винтовка должна быть заряжена. “Вы определили дистанцию с поразительной точностью... —

¹ В основу фильма Фрица Ланга “Охота на человека” (1941) положен роман Джеффри Хаусхолда “Одинокий волк” (1939). (Здесь и далее — прим. перев.)